



Татьяна Тихонова

Иллюстрация Сергея Дергачева

Кот и Фламинго

Дождь всю ночь стучал по карнизу, шлепал по лужам на полу в кухне. От карниза когда-то остался лишь оплавленный кусок железа. От кухни — терраса с видом на пустынную улицу. Улицу расчистили давно, как только выбрались наверх из укрытий, подвалов и колодцев.

— Баррикады, мы строили баррикады, — рассказывала потом мама. — Безумие накрывало после дождя. Известия приходили отовсюду — мир вдруг сошел с ума. Улица шла на улицу, дом на дом. За еду, магазин, аптеку, за лекарства, а потом и за военные склады. Квартиру выбирай и занимай любую — дома пустели. Люди... кто погибали, кто просто уходили, уезжали навсегда из наших мест. Другие приходили, приезжали к нам. Круговорот людей.

Отца убили в одной из таких квартир в доме с неразбитыми стенами и даже окнами. Он успел вытолкнуть нас — меня трехлетнего и пятилетнюю сестру — на пожарную лестницу. Мы ушли обратно в наш подвал, ночью мама, попросив помочь соседей, похоронила отца.

А потом нашелся этот уцелевший угол дома на окраине.

Здесь разбита лишь часть стены в кухне, а в двух других комнатах все-таки можно укрыться от непогоды. В железном баке старой стиральной машины плохо горели дрова, которые собирали по улицам. Маленькие проходные комнаты кое-как прогревались, окна запотевали и плакали вместе с дождем за стеклом.

С самого утра мы с сестрой оставались одни, мама уходила на ферму. И мы отправлялись в поход по пустынным улицам. Бегали по лестничным пролетам — ловили прыгающее и убегающее эхо, собирали разную мелочь. Мама запрещала нести в дом хлам. Но мы не хлам тащили, нет. Мы волокли игрушки, книги, обувь... ее меряли тут же, бросая свои убитые кроссовки в огромные кучи мусора.

Мама появлялась поздно вечером уставшая, проходила на кухню. Принималась выгружать на стол что-нибудь съедобное, а иногда доставать было нечего, и она говорила-говорила что-то, а то вдруг просила меня почтить и садилась за пустой стол.

Осенью первыми из рюкзака появлялись ранетки. Яблони росли вдоль дороги к городу, и мама часто собирала их. Летом — огурцы, их хозяин фермы не жалел. Зимой работать отправляли в коровники, и тогда появлялся даже творог. Весной приходилось хуже всего.

— В это время обычно прилетали птицы. Трясогузки, я почему-то всегда замечала их первыми, у них смешные дрожащие хвостики, нерешительные такие птички, — смеялась мама, задвигая ногой под стул пустой рюкзак.

Значит, хозяин опять ничего не заплатил.

Обычно это было молоко — две мятые бутылки с обрывком надписи «Газированная вода» и хлеб, еще теплый, плотный, весь в муке. Вкусный. Ферма находилась за городом, мама туда добиралась на самоходке. Туда все тянулись с утра, потому что работа — только там, да еще в городских торговых лавках и лавках старьевщиков.

Сосед, живший на первом этаже, в разбитой квартире рядом со своей устроил мастерскую. Собрал самоходку из старого обгоревшего двухместного автомобиля и двух покореженных велосипедов, сэкономив на колесах. С хорошими колесами самоходки выходили слишком дорогими. За нашу я работал у соседа бесплатно целый год.

— Крути педали, Мария, крути педали! — ругался он, когда мать не могла въехать в горку. — Машина супер, это ты дохляк!

— Я дохляк, точно, Петя, — тихо улыбалась мама.

Утром мама ехала под горку, а вечером, с работы, чтобы въехать в наш переулочек на набережной, толкала самоходку с рюкзаком перед собой.

Мама давно не стало. Умерла в один из обычных дней на ферме, мне стукнуло тогда тринадцать, и я тоже был там. Тогда налетела гроза, мы все сбились под навес. Кто уснул, повалившись на сено, кто просто смотрел на струи дождя, кто стоял под дождем.

— Как в детстве. Теплый.

— Не надо бы, пена серая на лужах, плохой дождь, — отрывисто сказал профессор.

Он приходил на ферму не каждый день, хозяин не любил ему давать работу, потому что у профессора дрожали руки.

— Радуга у мельницы, смотрите, — сказала мама.

Вдалеке, над мельницей, в струях дождя, в черном грозовом небе висела радуга. Там выглянуло и слепило глаза солнце.

Больше маму никто не слышал. Казалось, что она уснула, привалившись к теплому деревянному настилу. Но когда кончился дождь и все пошли работать, она не поднялась.

Профессор помог нам с похоронами, а потом подарил старый проигрыватель с кучей пластинок.

— Вдруг когда-нибудь электричество дадут. Мне они не нужны. Плакать начинаю, едва вижу их, понимаю ли. Старческое! Не обращайтесь внимания, — сказал он, махнул рукой и заплакал. Как-то зло сказал, он вообще так говорил, отрывисто и сварливо. Потом оказалось, что у него рак, боль почти уже не отступала.

Сестра давно жила в соседнем доме со своим парнем. Кажется, его зовут Миха. До этого был Алик. Алик ушел искать лучшую жизнь. Многие уходят. Говорят, есть где-то другие места, где нет серых дождей, где люди меньше болеют. Но три дня назад вернулся сосед, живший этажом ниже. По его рассказам получалось, что везде одинаково.

— Надо время. Так мне сказала старушенция в странной конструкции на голове с тряпичным цветком. Так и сказала, что просто надо ждать и держаться, — говорил сосед, сидя на подоконнике в подъезде. — А мы что делаем, говорю я?! А она опять за свое... — Он утвердительно кивал нам, собравшимся вокруг него — путешественника и первопроходца. И непрерывно дымил собранными окурками, их у него целый полиэтиленовый пакет, его он называл кисетом.

— Шляпа, — неуверенно сказала соседка тетя Нина. — С цветком — это, наверное, шляпа.

Шляпа так шляпа. Ждать так ждать. В первый год, когда взорвались какие-то лаборатории где-то на островах и все вокруг стали сходить с ума, это был как нескончаемый отчаянный самый последний бой. Брели приступом, шли на abordаж, строили баррикады, плакали и проклинали. Хоронили трупы, разгребали завалы и шептали, шептали: вы слышали про дожди, нас косит какая-то болезнь; нет, вы слышали, все сдохнем; к черту, всё к черту, день прошел, и ладно. Искали еду и одежду, ночлег, ждали утра. Прислушиваясь к себе, вздрагивая от шорохов и стука посуды в соседней конуре. Утром вместе с росой на траве, с пляшущими солнечными зайцами просыпалась надежда. И все отправлялись на работу, на ферму — там накормят и дадут хлеба. А то и молока. У кого дети, тем давали молоко, на сегодня хватит, до следующего утра. До него еще надо дожиться...

Мама иногда рассказывала о тех днях, когда она оказалась одна с нами. Рассказывала и вдруг умолкала, уставившись в какую-то точку на серой потрескавшейся стене.

Самое худшее у Петра Сергеевича получались всё лучше. Утром я выезжал в обход по улицам. Если повезет, крепил к самоходке и перегонял никому не нужные, оставшиеся без топлива машины к мастерской. Сегодня повезло — нашел одну такую. Вышел подтянуть ее к воротам. Красавица. Как уцелела, непонятно.

Над ухом жикнуло. Камень влетел в лобовое стекло. Стекло пошло трещинами. Оборачиваюсь. К воротам метнулся мальчишка, мелкота, лет шесть-семь.

— Что ж ты, гад, делаешь?! — говорю.

Выскочил за ворота, побежал по переулку. Зачем побежал, сам не знаю. Обидно стало. Пацан петлял по

улице, путаясь в одежде. Одет он был странно, будто в шубе, а на голове старый мотоциклетный шлем. Я рассмехался и остановился.

Вернулся к машине. Прицепил ее к самоходке. Пока возился, понял, что за спиной кто-то топчется. Повернулся. Тот же самый мальчишка, лицо его размалевано под зверюгу какую-то. Кто бы знал под какую. Их съели первыми. Только по картинкам да по рассказам про них слышали. Говорят, кое-где они стали снова встречаться, но к людям не подходят. Одичали. Вот и у пацана нарисован черный нос, усы, сам он закутан в старую шубу, это сейчас-то, летом. И в варежках! Он был в варежках.

— Замерз?

— Угу.

— Зачем стекло разбил, чудик? Черт... это еще кто?!

В ворота крадучись вошло существо. Как ее еще можно назвать? Тошная, длинная, в белых штопанных колготках, вся будто вываленная в белых перьях и странной юбке. В таких ходили... как же их называла мама? Балерины! На голове у девчонки белая шапка, нет, наверное, шляпка.

— Ты кто? — расхохотался я.

— Фламинго, — пожалла плечами девчонка.

Она невозмутимо взмахнула руками, согнулась по полам и прошла колесом по двору. И еще раз. Тонкая, легкая. Вскинула руку, вывернула как-то невероятно красиво кисть.

— Понятно — циркачи. А это... твой брат? Он что, язык проглотил?

— Он просто кот. Коты ведь не разговаривают.

Ясное дело, зачем спрашивал. Мне начинало это все надоедать, да и Петр Сергеич — мужик не злой, конечно, а из мастерской быстро выставит и другого работника возьмет. Но тут девчонка вдруг покачнулась, закатила глаза и принялась сползать по ржавым воротам в пыль.

— Светка! — Просто Кот бросился к ней.

Я стоял ближе и подхватил девчонку, увидел, что у нее вся спина в крови.

— Да кто вы такие, черт вас побери! — прошипел я, разозлившись, пытаюсь удержать. — Кто ее ранил?!

— Она голодная, — вскинул глаза и прошептал Просто Кот. — Это не кровь, краска.

Голодная... Подняв голову Фламинго, я разглядывал серые круги под глазами. Белила покрывали почти все лицо. Девчонка была старше, чем казалась на первый взгляд. Лет семнадцать? Как и мне. А Просто Кот добавил:

— Она убитый фламинго.

Вот так. Просто кот и просто убитый фламинго. А пацан этот не выглядит совсем уж чокнутым. И девчонка... как она колесом прошлась.

— Зачем? — спросил я. — Фламинго этот?

— Светка говорит, чтобы помнили.

Тут меня осенило:

— Зарабатываете так?

— Ну, — уныло сказал Кот. — Только редко что дают, а то и поколотят.

— Понятно.

Я подхватил Фламинго, потащил ее к самоходке. Кот вцепился в ноги сестры, прошептал:

— Не тронь! — И вдруг включил сирену — заверещал на всю округу, в растяжку, отчаянно: — Памаги-ите, люди добрые! Сестру ворую-ют! — Не удержал и выронил длинные ноги Фламинго.

— Заткнись! Ты есть хочешь? — рявкнул я. Кот замолчал, уставился на меня и кивнул. — Значит, так. Сейчас ко мне. Я вас накормлю.

Мы уложили Фламинго в кузов, Кот шмыгнул носом и забрался следом. Он обхватил сестру руками в меховых варежках, принялся гладить по лицу, что-то зашептал. Черный нос его шмыгал, шмыгал, и вдруг Кот не выдержал и разревелся. Горестно так, как только малыши плачут, — слезы градом.

— Она умерла-а-а же... умерла!

Я схватил ее за запястье, мотнул головой, прибавляя ход:

— Нет еще. Давно не ели, чудики?

— Не зна-аю-ю. — Кот уже просто плакал, всхлипывал, рука его в варежке обнимала голову Фламинго, а потом уснул, уткнувшись черным носом сестре в щеку.

Самоходка шла хорошо, за нами моталась машина. Ехать далеко, приходилось объезжать два квартала — там дорога взорвана. Солнце плыло над городом, шелестели разморенные жарой кусты сирени, потом пошли обломки берез с молодой порослью вокруг горелых пней. Тихо, все на работе, обычный скучный день. «Ну-у, скучать — это здорово, — говорила мама. — Просто роскошь какая-то, когда можно поскучать».

Я покосился на своих пассажиров. Они спали мирным сном, будто свалившись от дикой усталости в кузов самоходки. Дома из еды хлеб и мед — вчера заработал на ферме. Хозяин послал на мельницу: застопорилось колесо. Пришлось провозиться целый день, но заплатили хорошо, еды на несколько дней хватит, подумалось тогда. Сейчас прикинул, что маловато будет.

Девчонка очухалась и теперь молча смотрела на мелькающие дома. Кот спал.

— Останови, — вдруг сказала она.

— Куда вы пойдете? Вам поесть надо, ты зеленая совсем.

— Плохо, должна быть розовая. Вечером представление, хозяин будет ругаться.

— Других найдет!

— Нет. Мне брата кормить надо. Останови, механист, нам пора. Спасибо тебе, правда спасибо. — Фламинго посмотрела на меня, будто впервые заметила. Будто просто ехала рядом, а теперь решила рассмотреть.

Мне стало не по себе. Так меня еще никто не называл. Механист. Она будто с другой планеты, там жили розовые фламинго, коты, механисты, цирк...

Цирк я помнил обрывочно откуда-то издалека. Мама с отцом там смеялись, кружил свет от прожекторов; внизу, в пятне света, клоун шел по канату. Канат

лежал на ковре в манеже. Клоун все время падал и взбирался на канат. Сильно били тарелки в оркестре...

Фламинго стала выбираться через борт, ухватила мальчишку за руки, но поднять его ей было не под силу. Отчаянная какая-то... Я затормозил. Спросил:

— Где ваш цирк?

Они стояли на обочине. Смотреть больно. Мальчишка в шубе и варежках с совершенно счастливым лицом вцепился в руку девчонки в белом трико и короткой юбке, топорщившейся во все стороны. Фламинго посмотрела на брата, подмигнула ему, а мне сказала:

— Пока на Вокзальной площади, потом не знаю. Спасибо, что не бросил. Валялась бы сейчас на тротуаре. Кот бы не справился.

Кот обиженно метнулся, возмущенно заглядывая в глаза сестре.

— Ну нет, он звал на помощь, — сказал я.

Кот вскинулся теперь на меня — вдруг я над ним смеюсь? Но мне было не до смеха.

«Они точно чокнутые, — подумал я, глядя им вслед. — Что если их больше никогда не увижу?»

Фламинго шла быстро, крепко держа брата за руку, тот вприпрыжку бежал рядом. Вот он обернулся, подпрыгнул и замахал мне.

Я махнул в ответ, улыбнулся. Надо идти. Чего жду? Никогда так не ждал, разве что в детстве — зима стояла лютая, и мы с сестрой ждали лета, когда дождь, дождь, и вдруг радуга во все небо...

Сергеич хмуро посмотрел вверх старых очков, буркнул:

— Заклепаешь сегодня семь бочек, с фермы привезли. К утру выставишь к воротам.

Злится, точно. Но мне было все равно, только вспоминалось, как девчонка шла колесом по двору. Лихо, отчаянно. Потом — ее белое-белое лицо с закрытыми глазами, перья эти...

Через пару часов я намахался так, что гудели руки и ноги, а сделал только четыре бочки. Похоже, со всей округи рухлядь собрали. Тут я отставил кувалду, вытер руки. И сорвался бежать. Взлетел бегом на свой четвертый этаж. Схватил полбулки хлеба, огурцы, мед — главную драгоценность, доставшуюся за работу на мельнице. Хорошо еще, что не слопал его весь, как молоко и масло. Кусок жареной колбасы, сочной и горячей, проглотил тогда еще по дороге домой. У Сергеича я каждый день получал утром кашу, в обед суп, вечером то, что осталось от завтрака и обеда. Но сегодня мне у Сергеича ничего не светило, кроме тумачков: я второй раз бросил работу.

Солнце уже почти село за городской, заросший травой, парк. Где-то раздавалась музыка. Я и повернул на нее. Вырулил скоро, судя по сохранившимся табличкам, на проспект Мира, пустынный и залитый вечерним солнцем. Его перегораживало выкатившееся из парка огромное колесо с цепочками. Колесо не раз пытались поднять, но оно падало и падало на бок, так и оставили.

Сначала исчезли цепочки, потом сняли сиденья, теперь валялся голый остов.

Музыка слышалась все ближе. Это они. До Вокзальной осталось совсем немного.

Жидкий круг зрителей: дети, дети, бабушки, дед строгий и прямой, оркестр из двух музыкантов. Один — в трико, майке-безрукавке и очень серьезный — время от времени играл на скрипке, бережно прижимая инструмент к подбородку. И он, и музыка его, какая-то неожиданная и нездешняя, меня злили, хотелось то ли понуть, спрятав лицо в ладони, то ли бежать. Но второй вовремя вспоминал про свои тарелки, хлестал их как-то зло одна об другую, и разрушалась музыка первого.

В середине круга жилистый мужик с бегающим взглядом все выдергивал букеты искусственных цветов из рукавов джинсовой куртки. На его шее красовалась черная бабочка. Как у клоуна. Мама часто вспоминала тот день: «Помнишь клоуна? У него еще была на шее бабочка, в зеленый горошек». А я все не мог понять, про что она говорит...

Букеты летели двум девчонкам, и те ловко ими перебрасывались.

Вдруг один из букетов полетел вверх.

Я вскинул голову. И прошептал: «Черт, черт, черт!»

По канату, протянутому между балконами на третьем этаже, шла Фламинго. Проводила ногой в белой колготке по канату, потом другой ногой, руки раскинула, лицо белое-белое, а сама не здесь — будто звезды считала. Солнце садилось в кварталы городские, слепило. Девчонка шла в небе. Поймала букет. Помахала им. Повернулась. Опять помахала. Я все искал глазами, что ее держит там. Хоть бы какая-нибудь веревка... Гады! Сами стоят внизу, земля под ногами, а она там!

— Вчера на втором этаже шла, — раздался знакомый голос.

Кот. Мальчишка стоял справа. Когда он рядом оказался, я и не заметил.

— Это что же, завтра на четвертом пойдет? — спросил я, голос предательски дернулся. Страшно мне стало за нее.

— Ага, — деловито кивнул Кот. — Ну, мне пора.

Солнце лишь тоненьким светящимся краем виднелось из-за дальнего дома. Фламинго двигалась медленно. Села на шпагат. Стала перебрасываться букетами с мужиком в джинсовой куртке. Тарелки гремели. Скрипача не было слышно.

Вот Фламинго поднялась, поджала одну ногу, подняла руку. Опять завернула кисть так, что нормальный человек просто вывихнет руку. Она и правда в лучах заходящего солнца напоминала птицу. Наверное, такими и были эти фламинго. Нездешними.

Кот бегом рванул к подъезду. Вот он уже на балконе. Светка прошла по канату до края, ухватилась за перила. Да у нее совсем нет сил!

Но Фламинго уже нырнула в темноту балкона и исчезла. Раздались хлопки. Мальчишка из зрителей прощелся по земле колесом.

— Птица эта хорошая, — проворчал строгий дед, — не расшиблась бы.

Уже совсем стемнело, когда я нашел, где они остановились. Кот открыл мне. Фламинго спала на диване, уткнувшись в спинку, завернувшись в зеленый лохматый плед. Ее бело-розовое одеяние аккуратно висело на стуле. Кот тоже снял свою шубу, оставшись в старых джинсах и синей растянутой футболке. А к усам и носу его я уже, похоже, привык. Везде были разбросаны букеты искусственных цветов, пластиковые тарелки, какие-то старые мячики. В руках Кот держал букет. Вид у него был сонный, но решительный. Наверное, перед моим приходом жонглировал.

— Поешьте. — Я выложил еду на стол, под лампу с белым стеклянным абажуром. Лампа не горела и не могла гореть. Зато горела свеча на блюде. — Потом еще принесу. Вы здесь будете?

— Не знаю. Нам не говорят, куда мы поедем.

— А родители ваши где?

Кот вскинул глаза, потом вдруг строго сказал:

— Только никому.

— Никому, — пообещал я.

— Светка не сестра. Она меня подобрала, потому что я потерялся. У меня бабушка умерла.

— А отец с матерью?

Кот пожал плечами. Его светлые бровки взлетели, он вскинул руку ладонью вверх, словно говоря: «Ну чего ты». Вслух же сказал:

— Нет никого у меня! Говорю же, потерялся, а Светка нашла.

— Понятно. Ты поешь. И она пусть поест. Что же она у тебя падает, непорядок. — Говорю, но вижу, что мальчишка спать хочет, и заторопился: — Я приду, как только освобожусь.

Кот кивал в ответ, а сам щурился и тер глаза. Я уложил его рядом с Фламинго на диван, укрыл. Он и уснул сразу.

Циркачи уехали на рассвете. Старик сосед ходил за мной по пустому двору и говорил, что на их фургоне паровой двигатель; чуть забрезжил рассвет, они засуетились, засобирались; вещи-чек у них кот наплакал; «да ты и кота-то живого, поди, в глаза не видел, что я тебе говорю». Бормотал, что птица у них хорошая, что в городе раньше жило много птиц, для них строили кормушки...

Я не видел никогда паровой двигатель и птиц в городе. Перед глазами Фламинго шла и шла по канату. Скрипач играл свою странную музыку. И Кот оборачивался и махал рукой в меховой варежке...

Кормушки для птиц получились смешными. Картинку нашел в растопке, в книжке без обложки. Кормушка оказалась похожа на открытый на все четыре стороны дом. Их я развесил прошлой ночью в парке, одну взял себе. Поставил ее на стол у нас на террасе, утром накрошил хлеб, собрал рюкзак. Задержался на пороге кухни — люблю, когда встает солнце. И ушел из города.